

Лекция 8. Сложный характер речепроизводства. Взаимодействие разных уровней языка в процессах речевой деятельности.

Если задаться вопросом, что влияет на формирование высказывания, на выбор говорящим конкретных единиц, то одним словом можно ответить – всё. Действительно, сама референтная ситуация, интенция говорящего, представление о речевом опыте слушающего, обстановка общения (стиль, контекст, время, которым располагают собеседники), предыдущие высказывания, наконец, структура конкретного языка -- всё это по-своему участвует в создании текста!

В данной лекции речь пойдет более всего о том, как в ходе речевой деятельности взаимодействуют между собой разные элементы языковой системы. Дело в том, что в этом процессе практически одновременно (симультанно) и параллельно принимают участие многие значения, выражаемые единицами лексического, синтаксического, морфемного, даже фонемного уровней. Уже упоминавшийся ранее В.Г. Адмони в 60-е годы XX века писал о том, что речевая цепь строится по принципу **партитуры**. Это сравнение с музыкальным многоголосием не случайно: в речевой деятельности участвуют единицы разных уровней, которые «кооперируют» свои усилия. Я уже говорил о том, что высказывания должны строиться в соответствии с синтаксическими моделями (структурными схемами), отражающими типовые ситуации, что употребление слов в идеале должно соответствовать их стандартным (изосемическим) ролям и т.д. Но это – в идеале. А на практике высказывания вроде *Мама мыла раму, Папа купил телевизор, Дул ветер* – не такой уж частый случай. Речевая практика дает нам множество примеров отступлений, отклонений от этих идеальных правил – именно потому, что механизмы речевой деятельности очень сложны, и элементы языка связаны друг с другом многочисленными и многомерными (разнонаправленными) связями.

Обратим вначале внимание на взаимоотношения целого высказывания и словоформы, занимающей конкретную синтаксическую позицию. Словоформа – элемент высказывания, его составная часть. Но свобода выбора говорящего, творческий характер его деятельности и проявляется в том, что он может вообще не употребить данную словоформу или же, наоборот, употребить ее вне целой структуры – благо у нее есть самостоятельное значение.

Если, предположим, человек много раз в своей жизни встречал высказывания с изолированным родительным падежом, типа *Воды! Хлеба! Тишины! Денег!*, то ему ничего не стоит образовать, допустим, и высказывание *Соды!* – независимо от того, что имеется в виду: *Дайте соды, Прошу соды, Выпей соды, Хочу соды, Возьми соды, Принеси соды* и т.п. Литературный пример:

– Чего не спиши? – спросил Ханин. – Чего, мужик, ворочаешься? Пирога переел?

-- Вот именно, -- сказал Лапшин, -- пирога.

-- Ну **соды!** – посоветовал Ханин (Ю. Герман. Лапшин).

Еще пример, из поэтической речи.

А я за ними ахаю, крича
В какой-то мёрзлый деревянный короб:

-- Читателя! советчика! врача!

На лестнице колючей разговора б!

(О. Мандельштам. Куда мне деться в
этом январе?).

И здесь мы можем только предполагать, от какого предиката могли бы зависеть словоформы *читателя, советчика, врача, разговора*: от *хотеть, ждать, звать* или еще каких-то? Эти формы достаточно автономны.

Академическая «Русская грамматика» (Грамматика-80) выделяет высказывания типа *Чаю!* или *Врача!* в отдельный структурный тип предложений с семантикой «желаемого или требуемого существования [...] предмета или состояния», мотивируя это тем, что словоформа родительного или винительного падежа в данной ситуации и не требует восполнения никаким предикатом. По сути же это **«обломок» синтаксической модели**, стремящийся к коммуникативной самодостаточности.

Добавлю, что подобные «сепаратистские» тенденции присущи в русском языке не только формам родительного или винительного падежа. И именительный, и творительный, и даже дательный падежи – все они имеют как бы право на самостоятельное употребление, потому что за каждым из них стоит свой синтаксический смысл. Попробую его выделить и определить с помощью используемых сегодня в семантическом синтаксисе терминов. Итак, основные значения русских падежей, взятых в отрыве от сочетающихся с ними других форм, таковы:

ИП: *Весна. Дождь. Столовая. Гость. Отцы и дети* (демонстратив).

РП: *Воды. Пива. Огня. Хлеба и зрелиц* (дезиратив).

ДП: *Читателю. Другу. Петру. Городу и миру* (адресат).

ВП: *Машину. Милицию. Карту. Руку и сердце* (объект).

ТП: *Веслом. Карандашом. Поездом. Огнём и мечом* (инструмент).

С предложным падежом дело обстоит несколько сложнее, потому что за ним фактически стоят два значения: локатив (*В лесах. На балу*) и делибератив (*О лесах. О жизни*).

Галина Александровна Золотова составила на материале русского языка справочное издание нового типа – «Синтаксический словарь», с подзаголовком «Репертуар элементарных единиц русского синтаксиса» (М., 1988). В этой книге каждый падеж (как без предлогов, так и с предлогами) описывается с точки зрения его функциональной нагрузки. Конечно, у одной и той же падежной формы может быть несколько весьма различных значений. Но всё же какое-то из них оказывается наиболее «репрезентативным» -- оно-то и связывается с возможностью самостоятельного употребления; по Золотовой, – выступает в качестве свободной синтаксемы.

Это еще раз подтверждает, что между грамматикой и лексикой существует внутренняя связь, взаимообусловленность. (Напомню слова Караулова: «Грамматика вся сплошь лексикализована, привязана к отдельным лексемам...».)

В ситуации разговорной речи изолированная падежная форма легко «прилепляется», присоединяется к другой, грамматически с нею не связанной, ср.:

Кривоногий местный тракторист с локонами вокзальной шлюхи был окружен назойливыми румяными поклонницами.

-- **Умираю пива!** -- вяло говорил он.

И девушки бежали за пивом (С. Довлатов. *Заповедник*).

Это *умираю пива* означает примерно следующее: ‘я просто умираю от жажды -- так сильно хочу выпить пива’ или же ‘я так хочу пить, что почти умираю, и наверняка умру, если мне тотчас не дадут пива’. Такое «восстановление» полного смысла, конечно, представляет интерес для лингвиста, но оно совершенно не нужно для носителя языка.

Полноценное функционирование «обломков» целых синтаксических структур – это одно из проявлений сложного характера речепорождения. Другое его проявление – **аграмматизм**, свойственный некоторым видам текстов. Точнее сказать, это особый, нефлективный способ организации текста.

Лингвисты давно отмечают процесс «обесценивания флексии» в русском языке и связывают его с переходом от одной синтаксической системы к другой: от «органической», или синтагматической, к «неорганической», или аналитической. (Последняя характерна для того типа художественной прозы, который называют актуализирующим.) Процитирую петербургского профессора Галину Николаевну Акимову:

«...В синтаксисе тенденция к аналитизму приводит к расчлененности высказывания, ослабленности синтагматических связей, сжатию и опрощению синтаксических конструкций» (Акимова Г.Н. Новое в синтаксисе современного русского языка. М., 1990).

Конечно, это результат влияния разговорной стихии, в которой царствуют такие явления, как именительный темы, парцелляция, вставные конструкции, примыкание и т.п. Вместо иерархической системной организации высказывания мы получаем фрагментарную, рассыпчатую и в каком-то смысле случайную структуру типа «набора слов». Вот один реальный пример – отрывок из записей устной беседы (из уже не раз цитированвшейся книги «Русская разговорная речь. Тексты»). Две женщины в домашней обстановке разговаривают о попугаях:

Ну ничего // Ниче... (смех) Ладно // Еще к слову может придётся // Действительно / могут ... может они будут нам мешать / тогда ... А посадить их обратно в клетку легко за ... м-м ... вернуть? Или нет?

Кажущаяся бессвязность речи здесь вполне компенсируется обстановкой: духовной близостью собеседников, знакомством их с предметом речи, мимикой и жестикуляцией... Но нас интересуют сейчас собственно языковые показатели организации текста. И их явно меньше, чем должно было бы быть.

Своего рода аграмматизм, отказ от целостной организации высказывания проявляется и в активизации двучленных сочетаний типа *Из огня да в полымя, С бору по сосенке, Руки в боки, Руки вверх, Ни в зуб ногой, С песней в дорогу, Судью на мыло, Горе от ума, В грудь навылет, Привет родителям, Подарок в студию* и т.п. Они образуются без всякого участия глагола, а коммуникативная их самодостаточность очевидна: это поговорки, присказки, лозунги, заглавия и тому подобные мини-тексты. Ю.Н. Карапулов в своей «Ассоциативной грамматике» посвящает целую главу «синтаксическим примитивам», то есть соединениям двух слов, целостно воспроизводимым в ассоциативно-вербальной сети. Наши «биномы» вполне подходят под это определение.

Очень любопытна традиция названия художественного произведения по его первой строке или даже по первым словам (не составляющим синтаксического целого). Так, в концертных программах нередко объявляют: «*Исполняется старинный романс “Я помню вальса...”*» (а далее должно было бы быть: ...звук прелестный) или: «*Романс Римского-Корсакова “Редеет облаков...”*» (а далее должно было бы быть ...вечерняя гряда) и т.п. Понятно, что *редеет облаков* никак не может быть предложением, но особая функция – название произведения – делает сочетание слов коммуникативным эрзацем, «чем-то вроде предложения».

Имитация или даже абсолютизация структурных особенностей разговорной речи в художественной литературе происходит под видом так называемого телеграфного стиля. Телеграфный стиль в литературе используется как имитация мыслительного процесса, как попытка отразить внутреннюю речь, с ее ассоциативно-произвольным характером.

В качестве примера сначала приведу отрывок из дневниковых записей Марины Цветаевой, великой русской поэтессы с трагической судьбой:

Мой день: встаю – верхнее окно еле сереет – холод – лужи – пыль от пилы – вёдра – кувшины – тряпки – везде детские платья и рубашки. Пилю. Топлю. Мою в ледяной воде картошку. [...] Потом уборка... потом стирка, мытье посуды, [...] полоскательница и кустарный кувшинчик без ручки “для детского сада”.

Теперь два примера телеграфного стиля из художественной литературы.

Первый: Саша Соколов. «Школа для дураков»:

она вся старая страшная я не хочу быть старухой милый нет не хочу я знаю я скоро умру на рельсах я я мне больно мне будет больно отпустите когда умру отпустите эти колёса в мазуте ваши ладони в чем ваши ладони разве это перчатки я сказала неправду я Вета чистая белая ветка цвету не имеете права я обитаю в садах не кричите я не кричу это кричит встречный...

Второй: Евгений Попов. «Мастер Хаос»:

Вот именно что. Ветер. День. Еще вчера бестрепетный и тусклый. Жара купания. Сегодня ветер. Ревет и стонет. Волны в море льдины. Как льдины. Барашки белые на ультрамариновом, как льдины. Это образ. Художественный образ. Образы не Образа. Это ветер ветку клонит. Ветка лопается. Звук хруста. Бом-м-м. Ударил колокол. Волна накатывает. Брызги

влево. Брызги вправо. Брызги вверх. Волна вниз. Ветра ком. Ком ветра в глотку. Ком вон. Ком цурюк. Тент полосатый. Изгиб гриба обратно...

Как мы видим, способы графического оформления такой речи могут быть разные (со знаками препинания и прописными буквами или без таковых), но общим остается ассоциативная «покадровость» изложения, внешняя бессвязность текста и недостаточное использование грамматических (морфологических) форм.

Свобода говорящего в создании высказывания проявляется также в том, что он может в любом месте его прервать. Говорящего могут перебить, то есть помешать ему закончить высказывание, но он может и сам не довести фразу до конца. О структурной неполноте (незаполнении обязательных позиций) уже шла речь применительно к процессу восприятия высказывания. Здесь я только приведу еще один пример, чтобы напомнить о том, что для говорящего это может быть приёмом, нацеленным на определенный эстетический и идеиный эффект:

Супруга говорила, что **Мы должны вместе, Нам нужно сообща, Мы должны их** (А. Зиновьев. Зияющие высоты).

Нередко в ходе производства высказывания происходят сложные, многообразные **трансформации его внутренней структуры**. Это значит – связи между одними элементами нарушаются, а между другими – возникают, какие-то слова исчезают, опускаются, а какие-то – занимают «не свои» позиции... Эти преобразования, происходящие во внутренней речи, непросто эксплицировать и трудно смоделировать, однако для самого слушающего восстановление исходной структуры не составляет большого труда. Приведу сначала два примера из разговорной (обиходной) речи.

Несколько человек стоят на остановке маршрутного такси («маршрутки»). Подходит микроавтобус, но не все пассажиры умещаются в него. И одна женщина просит водителя:

– А можно я стоя?

А другая ей отвечает, кивая на шофёра:

– **Ему нельзя стоя.**

Это значит: ‘ему (шофёру) нельзя, чтобы кто-то из пассажиров ехал стоя’. И собеседницы вполне понимают друг друга!

Второй пример. В московском метро стоит инвалид с табличкой: **«Помогите на протез»**. Это значит: ‘помогите собрать деньги на то, чтобы купить протез’. И опять: сложная мысль обретает компактную, сжатую форму.

А теперь -- несколько иллюстраций из современной художественной литературы.

...Сегодня, стоя у окна и глядя во двор, она авторитетно произносит: «Ноль-три приехала, кого повезут, **сестра из вены**». Поначалу я озадачен. У кого бы это могла быть сестра в Вене? Потом догадываюсь. Смысл высказывания следующий: приехала за кем-то, неизвестно за кем, машина «скорой помощи», из нее вышли люди с носилками, с ними медицинская сестра, та, которая в поликлинике берет на анализ кровь из вены (И. Грекова. Кафедра). Слушающий сначала «озадачен», он не понимает, о чем идет речь, но потом всё же догадывается...

– Нюра! Последний раз объясняю: дай **десятку в пинжаке!** (М. Мишин. Ступеньки). *Дай десятку в пинжаке* значит ‘дай десять рублей, которые лежат в кармане пиджака’.

Очевидно, что структурная перестройка, которая происходит в данных случаях во внутренней речи, очень разнообразна. В каждом случае преобразования затрагивают интересы синтаксиса, морфологии, лексики.

Но возникает очень важный вопрос: если все эти семантические сдвиги, синтаксические смещения, стяжения каждый раз индивидуальны, то как же слушающий, причем не лингвист, а обычный, лингвистически не подкованный носитель языка, понимает говорящего?

На этот вопрос может быть два ответа.

Первый. Все эти преобразования не так уж индивидуальны, не так уж непредсказуемы. За ними стоят скрытые образцы, но они имеют эксплицитные признаки. Вот конкретный пример. Русские предлоги *в* и *на* в локативном значении управляют обычно формой предложного падежа: *дом на площади, работать в библиотеке* и т.п. Если же они в разговорной речи оказываются связанными с родительным падежом: *дом на Восстания, мост на Декабристов, учиться в Герцена, выходить на Пушкина* и т.п., то это верный признак того, что данная конструкция «съела», поглотила слова типа *улица, площадь, институт, академия* и т.п. Литературные примеры:

Сквозь молочный пар изморози едва виднелся высотный **дом на Восстания** (Л. Бежин. Метро «Тургеневская»).

Как-то принялся расспрашивать: а как называется мост, а кто построил вон тот особняк и вон тот? Ответов не давали. **Мост на Декабристов**, да и всё (В. Цыганов. Мой Екатеринбург).

Еще один случай. С античных времен известна такая фигура речи, как гипаллаг: перенос эпитета на другое слово (то есть «не в свою позицию»).

Она, эта фигура, кажется настолько естественной, что может вообще не замечаться читателем, ср.:

Вихрь берётся трясть впотьмах

Тминной вязкою баранок

(Б. Пастернак. Зимнее утро; вместо *вязкою тминных баранок*).

Среди их высушенных кофейных лиц его лицо его выделялось **розовой независимостью** (Ф. Искандер. Летним днём; вместо *розовое лицо*).

Примеры подобного рода «нерегулярностей» оказываются, в конце концов, регулярны! Это заставляет нас вспомнить уже приводившуюся мысль В. Г. Адмони: за самыми фрагментарными, алогичными, «неправильными» высказываниями всё же стоят определенные структурные образцы. Адмони, кстати, подробно анализировал работу немецкого исследователя Р. Рата, основанную на записях разговорной речи – и там, в глубине, казалось бы, хаотичной и «аграмматичной» спонтанной немецкой речи, тоже просматривались четкие структурные схемы предложений.

Второй ответ на поставленный выше вопрос. Языковое сознание очень гибко. При восприятии и переработке информации оно способно к аппроксимации, к операциям с нечеткими множествами, к принятию приблизительных решений. Скажем, если глаз встречает в тексте какое-то необычное, непонятное выражение, то сознание пытается отыскать ему хоть какие-то соответствия в мире референтов и использует для этого все ресурсы языка.

Так, в пьесе Василия Шукшина мы сталкиваемся со следующей фразой. Один мужчина говорит другому (с которым они накануне пьянствовали):

Моя швабра накатала на нас телегу (В. Шукшин. Энергичные люди).

Первичный анализ высказывания не дает нам положительных результатов. *Швабра* не может «катать», тем более *телегу*. Нашему сознанию, конечно, помогает контекст, в том числе языковой. О ком мужчина может сказать «моя»? Например, о жене. А у слова *швабра* как раз есть переносное значение ‘некрасивая, неопрятная женщина’ (пейоративно). У слова *телега* в разговорной речи есть значение ‘жалоба’, особенно хорошо сочетающееся с глаголом *накатать* в значении ‘написать’ (тоже разговорном). В результате мы выходим на значение, хорошо

согласующееся с контекстом: жена говорящего недовольна поведением этих мужчин и написала на них жалобу!

В сложных речевых ситуациях сознание перебирает все возможности синтаксических преобразований и обращается к уже апробированным образцам поверхностно-синтаксических конструкций. Очень показательны в этом отношении конструкции, содержащие так называемый **хиазм, или перевёртыш**. Это значит – некоторые слова в высказывании меняются своими синтаксическими позициями. А точнее, наоборот – синтаксические позиции обмениваются предназначенными для них словами. В частности, можно сказать *Ехал мужик мимо деревни* – это совершенно естественная, банальная ситуация. Но можно попробовать «перевернуть» отношения между актантами – и тогда мы получим *Ехала деревня мимо мужика*. Это начало русской народной потешки:

Ехала деревня мимо мужика,
Глядь – из-под собаки лают ворота...

Данный приём широко используется в художественной литературе и публицистике (хотя корнями своими он уходит в фольклор и разговорную речь). Но в разных языках он по-своему ограничен возможностями словоизменения, словообразования и порядка слов. Французский философ и экономист Пьер Жозеф Прудон опубликовал в 1846 году книгу под названием «*Philosophie de la misère*», то есть «Философия нищеты». В ответ Карл Маркс написал книгу, которая по-французски называлась «*Misère de la philosophie*», то есть «Нищета философии», – это типичное использование хиазма как приёма.

Теперь примеры из русского материала:

Поглядишь: **хандра всё любит,**
А любовь всегда хандрит
(П. Вяземский. Хандра).

Право силы исключает силу права (современный афоризм).

Лечиться даром – это **даром лечиться** (еще один народный афоризм). Изящество этого хиазма заключается в том, что первый раз слово *даром* употреблено в значении ‘бесплатно’, а второй – в значении ‘напрасно’.

Не всегда хиазм воспринимается так легко. Иногда он требует определенных мыслительных усилий. Это связано, в частности, с тем, что слово может быть употреблено в изосемической и неизосемической функции (об этом шла речь ранее), ср.: *Собака вертит хвостом* и *Хвост*

вертит собакой (пословица). Если оставить в тексте только вторую, «трансформированную» часть такого хиазма, то это неизбежно требует мысленного возврата к первой, исходной части – даже если она в речи опущена. Литературные иллюстрации:

Кондрат всегда говорил, что **писателя делает скандал**. Чем громче орут газеты, тем больше тираж (Д. Донцова. Гадюка в сиропе).

Золотой осёл. Буриданов осёл. **Уши машут ослом** (М. Шишкин. Венерин волос).

Популярность и «лёгкость» перевёртышей показывают нам, как синтаксические модели начинают работать «за своих создателей», за людей, подсказывая носителю языка автоматизированные пути создания текста. Получается, что у поверхностного синтаксиса есть «свои» модели, и говорящий в ходе реализации внутренней программы высказывания и саморедактирования не может их не учитывать.

Если до сих пор объектом нашего внимания были подчинительные конструкции, то справедливости ради следует хотя бы кратко сказать и о конструкциях сочинительных.

Сочинительные ряды, распространяющие структурную основу высказывания в ином измерении – не «вглубь», а «вширь», в принципе могут быть бесконечно длинными, и это известное выразительное средство в арсенале художников слова. Но меня сейчас интересует другая особенность сочинительной связи. Между словами, связанными союзами *и*, *да*, *а*, *но* и т.п., действует опять-таки своего рода семантическое согласование (тут оно называется семантической однородностью). Эти слова должны относиться к одной тематической сфере и характеризоваться одинаковым уровнем обобщения. Понятно, что сочетания вроде *день и ночь*, *сад и огород*, *краски и карандаши*, *стихи и проза*, *потребности и возможности*, *пальто и шляпа* выглядят вполне естественными, а какие-нибудь *огород и потребности* или *пальто и проза* режут глаз. По воспоминаниям современников, один из обериотов, Игорь Бахтерев, выступал на литературных вечерах с номером «Вилки и стихи». Уже само название должно было привлекать слушателей...

В соответствии с только что сказанным, сочинительная связь помогает понять значение слова через значение его партнера. Допустим, если мы встречаем высказывание *Купи газету и малоны на проезд*, то слово *газета* понимаем одним образом: это периодическое издание. А если

читаем информацию о покупке *газет и заводов* – то значение совсем другое; речь тогда идет об издательствах, например:

Ты можешь покупать **заводы, газеты, политические партии**, проводить или блокировать законы, но не волен распоряжаться своим временем (А. Константинов. *Мусорщик*).

В следующем примере сочинительный ряд позволяет правильно понять значение глагола *буксировать* (это то, что позже стало называться *крутить динамо*):

Волочиться, кокетничать, буксировать рано вошло в ее бюджет, но по-настоящему она открыла запруду в пестрые дни гражданской войны... (В. Иванов. У).

Получается, что сочинительная связь облегчает слушающему путь к реконструкции замысла говорящего!

Наконец, сочинительная связь позволяет активизировать словообразовательные процессы в сознании говорящего и слушающего. В частности, если в какой-то момент речепорождения возникают затруднения с образованием того или иного слова, то можно создать окказионализм и «поддержать» его с помощью сочинительного ряда. В нем знакомое слово будет как бы разъяснять новое, не вполне понятное. Получается, что сочинительная связь, если использовать политический термин, по-своему «лоббирует» образование окказионализмов. Несколько иллюстраций.

...Это то место, куда швыряют, так уж и быть, **обноски, обрезки, объедки, опивки, очистки, ошметки, обмылки, обмусолки, очитки, овидки, ослышки и обмыслевки** (Т. Толстая. *Лимпопо*).

Нет, в нашем **безрыбье, безмясье** и вообще в **бестоварье** пока рановато начинать бороться с гиподинамией, потребительством, с разлагающим нравы вещизмом (А. Рубинов. *Откровенный разговор в середине недели*).

Окказионализмы *обмусолки, овидки, обмыслевки, безмясье* в приведенных контекстах получают право на жизнь в значительной степени благодаря поддержке своих соседей по сочинительным рядам.

Сказанное касается и образования грамматических форм. У Пушкина в «Евгении Онегине» читаем: *Ямщик сидит на облучке, в тулупе, в красном кушаке*. В кушаке вообще-то не сидят, кушаком подпоязываются. Но расположенная по соседству словоформа *в тулупе* «разрешает» создать не вполне правильное сочетание предлога с существительным *в кушаке*.

Конечно, не все факторы, участвующие в процессе речепорождения, были рассмотрены в данных лекциях. В частности, мы почти не касались участия словообразовательных моделей. А ведь важно знать, как сочетается в деятельности говорящего использование готовых слов и «сиюминутное» создание новых. Особый интерес вызывает взаимодействие лексики и фонетики, в частности, проблема тавтологии: насколько разрешено или, наоборот, запрещено в речи употреблять рядом формально схожие или родственные слова? Мало внимания уделялось в лекциях и вхождению высказывания в более широкий контекст: это отдельная и очень важная проблематика. Но даже на том ограниченном материале, которым мы располагали, можно было убедиться, что процессы речевой деятельности чрезвычайно сложны и интересны.